

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002

РОМАН №5 2026 ГАЗЕТА

Александр Ломтев / Константин и міръ





ЛОМТЕВ Александр Алексеевич

Родился в 1956 году. Член Союза писателей России и Союза журналистов. Директор ООО «Информационное агентство «Саров». Основатель, главный редактор и издатель общественно-политических газет «Саров», «Арзамас-16» и культурно-просветительской газеты «Саровская пустынь». Прозаик, поэт, публицист.

Как журналист побывал во многих «горячих точках» — Чечне, Косове, Южной Осетии, Приднестровье и т.д. По программе «Народная дипломатия» АРСА, побывал в Греции, Израиле, Италии, Тунисе, Гонконге, Сербии, Боснии и Герцеговине, Финляндии, Польше и т.д.

Автор восьми книг прозы — «Путешествие с ангелом» (2006), «Ундервуд» (2008), «Шёпот неба» (2015), «Книга памяти» (2015), «Лента Мёбиуса» (2015), «365. Опыт спонтанной онтологии по господину Монтеню» (2016), «Финский дом» (2017), «Однажды я не умер» (2022) и сборника стихов «Пепел памяти» (2015).

Лауреат премий «Имперская культура», им. А. Куприна, «Золотой гонг», «Золотой лотос», «Патриот России» и др.

Автор четырёх персональных выставок графики.
Живёт и работает в г.Саров Нижегородской обл.

Светлана ВАСИЛЕНКО СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

АВТОПОРТРЕТ В ПЕЙЗАЖЕ

А. Р.

Степь,
Пахнущая чистой
Хлопчатобумажной футболкой
На теле любимого мужчины,
Который был до тебя
Жизнь назад.
Змея на дороге,
Полная яда,
С глазами рассерженной прачки.
Или где я могла видеть женщину
С таким же злым и бессильным взглядом?
Может быть, она была подавальщицей
Или посудомойкой в заводской столовой?
Не помню.
Кузнечик
С внимательным взглядом зелёных глаз
Инопланетянина,
Играющего со мной в салки.
Река,
Названная по имени
Монгольской девочки,
Тысячу лет назад влюбившейся в русского князя
И здесь утонувшей, —
Ахтубой.
Журавль,
Отставший от стаи,
Жалкий, словно после похмелья,
На другом берегу,
А на этом —
Ворона,

Терзающая брошенный кем-то пакет
С надписью «Мальборо»,
И я
На остывшем песке
Любящая тебя.

* * *

Светлане Кековой

В честь князя, как солнышко алого,
названный город. Автобус часа через два. Жара.
Маюсь. Подкатывается бомжара:
— Меня зовут Валерий Павлович! Как Чкалова.
А хотите увидеть чудо?..
Начал вдруг падать. Голодный обморок.
Подхватываю его, вдыхая миазмы. Очухивается:
— Извините. Я учился в местном вузе вместе
с Венечкой Ерофеевым,
слыхали? Мне надо бы похмелиться. У вас нет
двадцати рублей?
В качестве аванса? За чудо. Я отработаю...
Выпивает сто грамм на автовокзале, не закусывая,
и становится добрым молодцем, будто напился
живой воды.
Морщины разгладились. Глаз, как алмаз, — горит.
Румянец играет. Тряхнул кудрями:
— Ну что? Айда за чудом!
Идём за чудом по тропинке мимо свалки. Заходим
в церковь.
Девочка моет полы. В тёмном углу старик с клюкой
зорко смотрит на нас. Чкалов мой присмирел,
дальше идти побоялся.
Стоит у порога. Командует девочке:
— Доча! Покажи ей чудо!
— Эх ты, Чкалов! Опять напился... — девочка
отжимает тряпку,
вытирает руки. — Пойдёмте! — Ведёт меня во
влажную темноту.

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

**Редакционная
коллегия:**
Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Владимир Личутин
Юрий Поляков

**Ответственный
редактор**
Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака

«Роман-газета»
принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2026

Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2026 №5 /1994/ Основана в 1927 г.

Александр Ломтев

Константин и мирь

Роман

I

Продравшись сквозь густые спутанные заросли лещины, медвежонок выбрал на светлую поляну, за которой высились рыжие колонны молодых сосен. Медвежонок долго стоял на краю поляны, недоверчиво принюхиваясь, но запаха другого зверья не было слышно, и он медленно поковылял через бор, почуяв впереди воду. Утолив жажду в быстрой мелкой речушке, зверь побрёл вдоль берега в надежде поймать ящерицу или лягушку, а может быть, отыскать на песчаной отмели ракушку-беззубку. Голод гнал его всё дальше и дальше от того места, где он отбилсь от медведицы. Родившийся довольно поздно, в конце февраля, он должен бы ещё сосать материнское молоко, но, потеряв мать, вынужден был есть всё подряд — коренья, прошлогодние жёлуди, молодую траву. За несколько дней скитаний он исхудал, бурый мех его потускнел, торчал клочьями, маленькие глазки слизились. Неожиданно порывом ветра до него донесло незнакомый, тревожный запах. За колоннадой сосен он разглядел сложенную из брёвен берлогу. В панике медвежонок собрался было пуститься наутёк, но почуял другой запах — запах пищи — и стал потихоньку, готовый каждую секунду броситься прочь, красться к этой странной берлоге.

Седой согбенный старик, сидевший на пороге приземистой, больше похожей на землянку лесной кельи, увидев притаившегося на краю поляны сильно истощённого, видимо, обречённого на гибель медвежонка, вынул из кармана ветхого подрясника ржаной сухарь и, протянув его зверю, замер...

1. Село

Подходило время родов, а о том, чтобы везти роженицу в райцентр, не могло быть и речи. Снегов намело по грудь. Мальчишки в сугробах под толстым, таким крепким, что по нему можно ходить, настом рыли пещеры с длинными ходами и закутками. Домой возвращались весёлые, румяные, сопливые в зазеленелых, колом стоящих штанах и забитых снегом валенках. Взрослым было не до веселья.

Отправившийся давеча на снях в соседнюю Лихачёвку Колюн едва не замёрз. Потеряв заметённые вешки, он в непроглядном снежном месиве дотемна плутал кругами от оврага к оврагу. И только к ночи, когда отчаялся и лёг на дно саней, опыт-

ная коняга сама смогла выбрести к жилью. Колюнпил с Дедом самогонку, закусывая ломтём ржаного с солью, и всё повторял:

— Представляешь, чуть не погиб ни за что, представляешь...

— Да, — Дед сочувственно качал головой, — эт уж кому что на роду...

Небывалые метели безобразничали в округе уже целый месяц. Уставая, они ненадолго превращались в подируху — стелящуюся позёмку, облизывающую колючим языком снежные увалы, но, набрав силы, снова обрушивались на землю дикой круговертью. Ночами оголодавшие волки выходили из леса к самой околице и рвали зазевавшихся собак и котов. Да что собаки, надьсы в соседней Берёзовке волчья стая в поле в клочья растерзала демобилизованного. Парень, не подумав, ночью пошёл пешком из райцентра в родное село напрямки — не терпелось поскорее со своими увидеться. Тут посреди снежной равнины они его и настигли. Успев добежать до скирды, он стал жечь солому, но стая не ушла и, когда вся солома вышла, добралась до несчастного. Жуткое дело. Главное, из Берёзовки видно было, что скирда горит, но пойти посмотреть не догадались; ну горит и горит, чего ж теперь — не потушишь...

К концу декабря Село замело по самые крыши. Чахоточный трактор по утрам едва-едва пробивался по слободе, выедавая в снегу тоннели к мастерским, коровникам и правлению. Время от времени мужики помоложе с большими деревянными лопатами проходили по селу и прокапывали узкие тропки к домам одиноких стариков, которым не по силам было бороться со снежной напастью.

— Ничего, дома рóдит, — успокаивал многочисленную родню, а в общем-то самого себя Дед. — Мало ли Матрёна приняла дома-то...

Родов ждали со дня на день, но остаток декабря таял день за днём, неумолимо приближался праздник, а живот роженицы всё округлялся и округлялся, словно бы намереваясь заполнить собой всю избы.

— Запаздывает паренёк, — вздыхал Дед и всё чаще присаживался к открытой дверке голландки почитать самосадом. Из избы Деда с его большой свёрнутой из газеты «козьей ножкой» дружно гнали в сени, но с прогнозами не спорили, за девять родов собственной «старухи» он не ошибся ни разу. Ну, паренёк так паренёк, но действительно — запаздывал...

И только с утра тридцать первого стало ясно — скоро! Вот-вот!

Тётки, сёстры, крёстные, подружки, поспорив и покричав для порядка, сошлись на одном: в горнице холодно, сквозняки, кровать узка́, так что — рожать на печи.

С толстобоккой русской печки убрали всё слезавшееся там за годы тряпье — заскорузлый тулуп, в ко-

тором ходил, должно быть, ещё дед Деда, драные, замасленные фуфайки, которые вместо подушек бросали вголовá, пёстрое лоскутное одеяло с вылезшей кое-где ватой; сбросили потрёпанные книжки и несколько забытых номеров «Огонька», отодрали со стены жёлтые газеты с неясными текстами и портретами прошлых людей; сняли вязки лука, мешочки с калёными орехами и семечками, пучки сушёных трав, собранных незнамо в каком году и давно потерявших запах; смели застарелые тенёта, изгнав пауков-старожилов и небольшое семейство чёрных тараканов.

Печь отмыли, отскребли; отдраили выглаженные телами, прокалённые жаром кирпичи, постелили широкий пышный тюфяк, набитый духовитым летошним сеном, сверху накинули плотную дерюгу, расстелили рыжую ломкую клеёнку, а поверх — тонкое байковое одеяло и, наконец, чистую хрусткую, пахнущую морозным крахмалом простыню. В изголовье взбили две огромные пузатые подушки.

Позвали Матрёну и под строгим приглядом повитухи роженицу подвели к печке, помогли ей, постанывающей, бережно поддерживающей огромный живот, взобраться на ложе. Она откинулась на подушки, длинно вздохнула и закрыла глаза.

Все присели перевести дух и говорили вполголоса. Однако ходики тикали, стрелки всё настойчивее намекали на приближающийся праздник, и Дед приказал:

— Мать, давай накрывай на стол!

Повитуха сидела на припечной лавочке и смотрела, как тщательно выскобленная к празднику столешница заполняется едью. Из чугунок на большое блюдо вывалили пышущую сладким паром печёную картошку и бросили в неё щедрый шмат топлёного масла, вокруг поставили миски с квашеной капустой, солёными грибами, мочёными яблоками; на деревянную доску выложили крупно порезанное холодное со слезой сало с красными прожилками и крупинками соли на жёлтой коже; поставили «четверть» с мутноватым самогоном, а в центре — привезённые отцом из Города поллитровки водки и бутылки тёмного вина. Наконец, достали из печи чугунок с тушёной гусятиной и все сели за стол.

Роженица тихо дремала, и повитуху позвали к столу и даже налили ей полстопки водки — немножко можно. Пригубить за компанию.

Выпив, разговорились, перебивая друг друга, уплетали едью, вспомнили давешнее приключение Колюна и троюродного дядьку, лет десять назад на смерть замёрзшего вот так в буран в двух шагах от забора собственного дома.

Дед включил радио, разлил по рюмкам и стаканам городское вино, и, когда из хриповатого динамика раздался новогодний бой курантов, все встали,

принялись чокаться, поздравлять друг друга, обниматься и целоваться.

И только тут с печи раздался слабый стон, а затем и крик. Повитуха, бросив вилку с недоеденным груздем, кинулась к роженице, на полпути метнулась к рукомойнику и, брызгая водой, наскоро намылила руки коричневым обмылком и сполоснув их, полезла на печь.

Деда, ошалевшего отца и Колюна вытолкали в сени, лишнее бабё повитуха от печи отогнала и, взбравшись на лавочку, развернула роженицу поперёк печи, так что притихшие девки — сёстры, племянницы и младшие тётки увидели её жёлтые мозолистые ступни. Они слышали, как Матрёна то что-то бормочет роженице, то затягивает какую-то неясную молитву:

Стань, благословясь, пойдя, перекрестясь,
из избы дверьми, из двора воротами,
во чистое поле, во синее море.
Там у Христа на престоле
сидит Пресвятая Матерь Богородица,
держит золоты ключи,
отмыкат мясны ларцы,
отпускает младенца из плоти, из утробы,
отпускает младенца из плоти, из горячей крови,
чтобы не чують ни шипоты, ни ломоты,
аминь.

— Воды отошли, — не оборачиваясь, буркнула она через плечо; и роженице: — Тужься, тужься!

Время шло, роженица всё вскрикивала да стонала, повитуха то шептала что-то, то прикрикивала:

— Ну-ка не ленись! Давай, давай!

Дед всунулся было в дверь, пустив в избу клуб морозного пара:

— Ну как у вас?

Но его тут же вытолкали обратно, так что он не услышал деловитого бормотания повитухи:

— Головка показалась, держу, давай, давай, девушка, давай!

Мужики на крыльце молча курили, и махорочный дым бледными струйками уходил вверх. Дед медленным взглядом проследил, как дымки растворяются по пути к невидимому зимнему небу, и подумал про Вифлеемскую звезду. Вспомнил вдруг и себя маленьким, и собственную бабку, рассказывавшую ему сказки про Иисуса, про волхвов и про эту самую Вифлеемскую звезду... Есть она теперь, эта звезда, или нет? Вряд ли. Теперь где-то там далеко — за полями, за долами, за дремучими лесами сияет во тьме гранёным рубином кремлёвская звезда... Дед потрогал сквозь рубашку нательный крестик...

Сколько прошло времени, никто и не заметил, когда наконец в руках у Матрёны оказался младе-

нец. Она ловко, словно куклу, повернула его на животик и звонко шлёпнула по сморщенной попке. Изо рта младенца вылетел комочек слизи, и мальчишка — угадал Дед, угадал! — закричал. Матрёна уложила его на чистый, прокалённый в печи вместе с ножницами и нитками лоскут, пережала в двух местах пуповину и перерезала её большими портняжными дедовыми ножницами.

— Здоровенький, кажись, парнишечка, — тихо пробормотала повитуха.

Тут только вспомнили про мужиков; дверь, пыхнув клубами пара, приоткрылась и племянница, тараша глаза, позвала:

— Идите уже! Родился!

Они вошли в тепло, лякая зубами, и полетели было к младенцу, но Матрёна осадила их:

— Куды, куды! Вон в сторонку!

Наконец в деревянной шайке она обмыла новорождённого, передала его бабушке, а сама занялась роженицей.

Внимательно осмотрела послед, удовлетворённо крякнула, обмыла его в той же шайке, завернула в заранее приготовленный платок, подала отцу:

— Положи до весны на лёдник. В ведре с крышкой, да гнеток на крышку, чтоб мыши не поели. А как земля оттаёт, зарой, где не ходят. Да смотри, чтоб никто не видел. Понял?

— Понял, понял, — ответил отец, нетерпеливо переминаясь и косясь на родственников, столпившихся над младенцем.

Повитуха взяла со стола лепёшку, выкусила мякиш и, хорошенько разжевав его, завернула кулёчком в тоненькую тряпицу.

— Ну-ка, — раздвинула она родню и, протиснувшись к младенцу, сунула ему влажный от слюны кулёчек в рот. Младенец, словно ждал этого, живо зачмокал...

— На печке родился — всю жизнь печальным будет, — ни с того ни с сего сказал вдруг Дед.

— И чего несёшь, Дед! — рассердилась повитуха. — Скажешь, как в лужу пёр... На печке родился — горячим будет, девки за ним табунами бегать станут. Как назовёте-то божьего пришельца?

— Константином, — быстро, словно боясь, что кто-то предложит своё, ответил Дед. — В честь отца моего, геройски погибшего в Первой империалистической...

— Ну и что, что на печке, — ввязалась в разговор тётка Галина. — У Ваниных Файка вон вообще под коровой родила, так корова ребёночка вылизала всего, пока их спохватились. И ничего, вон какой здоровенький — тьфу-тьфу-тьфу! — растёт. А не то, что печка!

Костя смотрел светло-сизыми глазами на вдруг возникший неясный ещё и перевёрнутый мир, а мир

смотрел на него глазами — карими, зелёными, серыми, но по большей части голубыми — его многочисленной родни.

Так что Костя не сможет потом пошутить, мол, когда я родился, дома никого не было: папа был на работе, а мама в больнице. Когда он родился, все были дома...

* * *

«Когда москвичи садились за новогодние столы, во Владивостоке началось утро нового года. Всю ночь на берегах бухты шла напряжённая работа. Портовики Владивостока в честь Нового года встали на Стахановскую вахту, бригады грузчиков т.т. Мишина, Моршанского, Козленко встречали первый день нового года замечательными трудовыми успехами: они выполнили задание на 150–200 процентов.»

Первыми в нашей советской стране, встречая утро большого советского дня, трудящиеся Приморья говорят:

— Здравствуй, Новый год! Мы будем трудиться ещё лучше, ещё больше, ещё упорнее, чтобы крепла и расцветала наша любимая Родина!»

(Газета «Правда» за 1 января 1950 г.)

«Новый фильм И. Пырьева «Кубанские казаки» повествует о счастливой жизни советской колхозной деревни, о силе крепости колхозного строя, о чести, доблести и героизме колхозных тружеников...»

(Газета «Советское искусство», март 1950 г.)

«Тринадцатого июля этого года болгарские солдаты совершили несколько вооружённых провокаций на югославо-болгарской границе на высоте 872, в пяти километрах к северу от села Класусе и в 300 метрах к северу от дороги Стрезимиревци — Слашавци.»

Около 17.30 в тот день один болгарский солдат пересек в этом месте югославо-болгарскую границу и зашел на глубину 20 метров на нашу территорию. Заметивший это движение югославский пограничник приказал нарушителю остановиться и бросить оружие, что он и сделал и по команде пограничника пошел к нему. Как только болгарский солдат приблизился к пограничнику, стоявшему приблизительно в 80 метрах от границы на югославской территории, 15 болгарских солдат открыли огонь по пограничнику.

В это же время находящийся на югославской территории болгарин вытащил спрятанную у него гранату, готовясь бросить ее в сторону югославского пограничника. В ответ на это пограничник немедленно открыл огонь и убил нарушителя. Упогибшего на югославской территории болгарского солдата был найден патристический лист на имя Негора Венава Тодова.

В тот же день и на том же месте еще одно болгарское подразделение из примерно 50 человек пыталось

около 20 часов вечера перейти на югославскую территорию. Однако эти попытки ни к чему не привели, так как болгары отказались от своей попытки нападения, когда заметили повышенную бдительность югославских пограничников.»

(Газета «Борьба» за 15 июля 1950 г.)

2. Город

Микки Йокинен не торопясь брёл среди опушённых сверкающим инеем ёлок, гладких рыжих стволов сосен и наслаждался сочным скрипом утреннего снега. Солнце едва-едва пробивалось сквозь чашу, с трудом выкарабкиваясь из густого переплетения заснеженных ветвей застывшего в январской спячке карельского леса. Завидев подходящее дерево, Микки сворачивал с тропы и, проваливаясь по пояс в рыхлые сугробы, брёл к стволу, острым топориком делал на рыжем боку сосны или тёмной шкуре ели зарубку и толстым химическим карандашом вычерчивал надпись.

Он шёл так от дерева к дереву и разговаривал то ли с лесом, то ли сам с собой. Он любил эти сосны и ели, и ему было немного не по себе, что скоро эти красавицы услышат у своего подножья визг пилы и падут, взметнув стволом и кудрявой кроной снежную пыль. Но это ведь хорошо, убеждал сосны и себя самого Микки, ведь они не свалятся от старости, не сгниют, а будут долго жить в стенах красивых тёплых домов, слышать человеческие голоса, детский смех, лай собак и мурлыканье кошек, будут чувствовать тепло печи и тепло человеческой любви. Однажды Микки довелось побывать на заводике, что превращал эти могучие стволы в лёгкие, пахучие бруски, из которых за пару дней можно собрать весёлый тёплый финский домик. Сейчас, во времена разрухи, такие домики пользовались спросом не только в Финляндии, а и по всей разорённой, дымящейся ещё Европе.

Микки был уверен, что теперь, после такой большой, долгой и жестокой войны, зла на земле почти не осталось, а любви будет всё больше и больше; ему невдомёк было, что несколько домов, сработанных из срубленных им лесных великанов, отправятся в далёкую Россию и в них станут жить люди, создающие новое страшное оружие, которое, как это ни странно, действительно дарило надежду на долгий и прочный мир... Да, невдомёк, но именно там, в этом городке, спустя несколько лет в один из последних августовских деньков в половине восьмого утра, когда на рассвете чувствуется свежесть первых подступающих заморозков, пахнет арбузами и роса уже не так быстро исчезает с травы, а воздух заметно бодрит; когда по тротуару привычно прокатила пустой бидон на тележке усталая молочница — она уже от-

голосила своё призывное «Мо-оло-око-э-э!», напиталась от покупателей новостями и, отягчённая этими новостями и сумкой с мятыми рублями и мелочью, брела сдавать выручку; когда, поглядывая на окна, на белые тюлевые занавески, на ярко-красные цветы гераней, бодро шагала по недавно проложенному, ещё не покрывшемуся сеткой старческих морщин асфальту рабочий люд, никто не знал, конечно, и не мог знать, что в это же самое время, далеко — за две тысячи вёрст отсюда — посреди голой степи, в бункере за толстыми бетонными стенами, из динамик раздавался голос ставшего на время диктором генерал-майора инженерно-технических войск Мальского:

— Осталось десять секунд! Осталось пять секунд! Четыре. Три. Два. Один. Ноль!

И в этот момент бескрайняя степь озарилась ослепительным светом, в динамике раздавался треск, все стоявшие в бункере слышали гул, почувствовали, как нечеловеческая сила пронизала всё кругом, земля под ногами ожила, прошла волной — и всё замерло.

Над степью клубился огромный — до неба — подсвеченный изнутри красным, чёрный клубящийся гриб...

...Город был. И Города не было. Говорить о нём было нельзя. Всё равно говорили, конечно, но только с надёжными людьми, с теми, кто не донесёт. Болтали какие-то чудеса — о подземных заводах, об аэродроме, опять же подземном (и верно — тяжко гудя, пролетал над Селом, и не единожды, огромный самолёт), о переселённых отсюда в двадцать четыре часа ненадёжных местных жителей в специально построенный в Мордовии в небывало короткие сроки посёлок, о заоблачных зарплатах и богатых магазинах. Приезжавшие «из-за колючки» в отпуск бывшие односельчане привозили гостинцы — копчёную «московскую» колбасу, заморскую рыбу палтуса, нежные батоны и небываемые в сельпо консервы, но на расспросы только отмахивались и даже во хмелю с усмешкой помалкивали — подписка. Из клубной библиотеки тихо изъяли книжку Аркадия Гайдара, в которой мельком упоминался монастырь, тот самый, что оказался теперь за колючей проволокой.

Глушное, но недоглушенное зарубежное радио ночами сообщало, что там, за монастырскими стенами, держат в холоде и голоде каких-то инакомыслящих...

Конечно, Костя не мог помнить, но ему казалось, что он помнит, как отец забирал его, трёхмесячного, с матерью в Город. Весна в том году пришла рано и, хотя в берёзовых перелесках ещё белел кое-где по лощинам квёлый, умирающий снег, но уже пахло

смолой и половодьем, всюду заходились в прозрачных ветвях невидимые птицы. Невесомые растрёпанные облака поспешно тянулись в неведомые края в высоком белёсо-голубом небе, под скрипучими колёсами телеги плыла жёлтая отсыревшая песчаная колея, а из-за спины возницы покачивался тугой в лёгкой испарине рыжий круп и подрагивал нечёсанный хвост коняги... Так, под скрип колёс и птичьих трели, добрались они неспешно до белых стен монастыря на длинном холме.

Монастырь стерёг эти края четвертую сотню лет. От неожиданных татар и воинственной мордвы, от шаяк Емельки Пугачёва и приспешницы его Алёны Арзамасской, от лихих людишек окрестных селений, жадными взорами провожавших вереницы паломников с узелками, тощими мешками да котомками снеди, с нехитрыми дарами для святой обители.

Чтобы отпугнуть шайки разбойного люда, шастающего по окрестностям, из самой Москвы прислан был отряд из десяти царских солдат с чёрной чугунной пушкой. Век за веком монастырь берёг покой братии, суровой службой отмаливавшей грехи несовершенного мира, всё больше сваливающегося в искушения и соблазны. Пытался сберечь и от новой власти, с провинциальным запозданием пришедшей и к этим крепким ещё стенам под страшными багряными знамёнами. Не сберёг.

Старая, такая привычная, казалось, незыблемая и нескончаемо надёжная, жизнь вдруг без видимых причин пошла кривь и вкось, рухнула и рассыпалась в какую-то непонятную труху — не на что опереться, не за что зацепиться уму и сердцу, что впереди — не ясно. Тёмные люди шатались по окрестным деревням и кликушествовали о конце света...

Увядал древний монастырь. Вместо изгнанных из вековых келий отошавших, перепуганных монахов пригнали в обитель под штыками конвоя пёстрое людское отребье — беспризорников, попрошаек, мелких воришек; одним словом — жиганов. Запестрели на воротах, заборах, ставнях, столбах бумажки со всевозможными «Нельзя!», «Запрещается!», «Преследуется!».

Примолкли разноголосые колокола, притихли храмы, которым повезло не быть взорванными; оглашая окрестности утренним гудком и звонко брякая металлом, бойко заработал рядом небольшой, но шумный заводик, и всё реже тянулись к светлым окрестным родникам страждущие с молитвами и просьбами к Великому Старцу.

А однажды и сама обитель, и лепившийся к ней посёлок, и изрядный кусок леса вокруг с речками, озёрами и лугами оказались окруженными рядами колючей проволоки; и вся эта местность внезапно исчезла с карт, словно стёртая невидимой, но всемогущей властной рукой.

Когда где-то там, далеко на западе, отгремела большая война, когда заводик перестал выпускать снаряды для грозных «катюш» и городок настроился на трудную ещё, но всё же мирную жизнь, небольшая группа людей, выбравшихся из похожих на чёрных жуков авто, вышла на песчаную дорогу у монастырских стен и деловито направилась вдоль реки, в спокойной воде которой по-прежнему отражалась молчаливая колокольня. Впереди шёл невысокий полноватый человек в шинели, на лице его хищно поблёскивало пенсне, остальные почтительно держались на полшага позади.

— Помещений под жильё явно не хватит, — сказал один из свиты, обращаясь к человеку в пенсне. — А строить новое долго. Не в землянках же...

— Зачем в землянках, — с лёгким кавказским акцентом ответил полноватый, — в землянках не надо... А подумать надо. Что скажете, товарищ... — Он назвал фамилию одного из сопровождавших.

— Привезём в разобранном виде деревянные дома, товарищ Берия, финские, по репарации.

— Но их же тоже строить, собирать нужно, — подал голос кто-то из свиты...

— Зеки соберут! — сверкнув линзами, отрезал Берия. — Зато быстро, а дома финны делают хорошие. Проверено.

Люди загрузились в свои чёрные жуки и уехали.

Прошло совсем немного времени, и поднялась в округе неясная суета. Живущая на одинокой ели белка, услышав громкие голоса, выглянула из дупла. Внизу под деревом стояла кучка людей.

— Ну, давай! — Мастер кивнул одному из одетых в серое зеку.

Зек поплевал на ладони, покрепче ухватил топор и, крикнув, вонзил лезвие в тёмную кору ели.

Белка в панике забегала по ветвям. Скрыться ей было некуда, рядом не было ни одного дерева, на которое она могла бы перемахнуть.

Зек успел махнуть всего два-три, когда рядом притормозила черная «эмка». Из машины выбрался грузный человек в генеральском мундире. Все молча вытянулись перед ним.

— Зачем рубишь? — спросил генерал. — Кому мешает?

Зек растерялся. Отвечать, что, мол, мастер приказал? Но генерал уедет, а мастер останется. Зек мялся.

Генерал и сам всё понял.

— Не рубить! Не мешает — не рубить.

Так ёлка осталась жить, а историю об этом потом рассказывали всякому, оказавшемуся рядом, вот, мол, — забота! И показывали рубец от ударов топора на еловом боку. Ёлка и не заметила тех ударов, рану затянуло янтарной смолой, и шрам этот вместе с ростом ствола поднимался и поднимался, пока не оказался намного выше человеческого роста.

А белка осталась жить в своём дупле, не зная, конечно, что выведет тут не одно поколение бельчат, а когда умрёт от старости, своих бельчат будут выводить её потомки...

Осенью коробка дома возле беличьей ели была накрыта крышей, на кухнях устанавливали чугунные печи, проверяли дымоходы, а с первым снегом начали отделку помещений.

Ранним утром зек Чугунов оказался в комнате один. Оглянувшись, он помуслил шербатым ртом огрызок химического карандаша, быстро вывел на стене: «Х... тому, кто будет жить в этом доме! Смерть сукам! з/к Чугунов». И моментально приложил проклеенную полосу бледно-жёлтых обоев. Он вдруг испугался: а что, если смоченная клеём надпись проявится через обои?! Но она не проявилась. Её прочтут спустя лет сорок, когда будут делать капитальный ремонт и сорвут все обои. Таких надписей в этом доме и в других будет найдено довольно много. Придёт бойкий дядька с фотоаппаратом, посмеиваясь, всё сфотографирует. А ещё позже некоторые снимки будут выставлены в городском музее. Правда, стеснительные музейные барышни часть чугуновского творчества старательно заклеют полосками белой бумаги.

А новый Город всё плотнее охватывал древнюю обитель. Валили вокруг монастыря вековые сосны, прокладывали улицы, возводили дома, магазины... Протянулся один проспект, следом другой... На одном из них в новеньком, пахнущем деревом и белыми доме Костина семья получила квартиру. Это через пятьдесят лет будут удивляться: кому пришло в голову назвать вот эту узенькую, кривоватую улицу проспектом? А тогда в захватывающем дух творческом подъёме, среди весёлых, умных, почти сплошь молодых людей, всё казалось просторным, многообещающим, светлым и успешным, обещающим небывалое будущее. Если улица, то проспект, если бомба — то царь-бомба! Ещё немного, ещё усилие — и вот он, долгожданный коммунизм!

Январским солнечным морозным днём едва ли не в один час из всех труб новенького дома повалили белые, плотные столбы дыма. Жильцы радостно протапливали помещения. Окна запотели, но вскоре очистились, и лишь по краям пошли тонкие красивые узоры, обои потрескивали, но держались... После барака отдельная квартира в сухом, светлом финском доме казалась раем.

...Вскоре Город плотно окружил монастырь. Замечательный Город. Особенно хорошо и уютно было в нём, раскинувшемся в междуречье, на границе мордовских и муромских лесов, словно в зелёной колыбели, летом. Он утопал в липовых скверах, тополиных аллеях, сиреневых зарослях, слушал ноча-

ми гул корабельных сосен. Канюки и коршуны безбоязненно селились в пригородных лесах, совы ночами ухали за окнами в парках и скверах, лисы на рассвете приходили поживиться к мусорным контейнерам, а вёснами лосихи приводили лосят прямо в городские дворы. Всё здесь было как везде — колоколенка в центре наполовину уцелевшего монастырского подворья, Дом культуры и Дом-со-шпилем сталинского ампира, Вечный огонь, стадион, пара кинотеатров, автоматы с газированной водой, сквер с фонтаном, в центре которого зимой и летом стояли легко одетые представители трёх человеческих рас, держа на вытянутых мускулистых руках железный земной шар; кварталы сталинок, окружённые хрущёвками, рафинадный строй девятиэтажек, россыпь аккуратных, одинаковых, как близнецы, финских домиков и деревенский самострой частных домишек вдоль по окраине.

Всё как везде... и совсем не так. Уйди за город, забреди в лесные дебри и везде, куда ни отправишься, вскоре наткнёшься на два ряда заграждений из колючей проволоки и контрольно-следовую полосу между ними. А если немного подождёшь, то обязательно увидишь, как вдоль полосы пройдут — летом в защитных плащах, зимой в овчинных тулупах — автоматчики, у одного из которых на поводке трусит, высунув розовый язык, неперемная крупная чепрачная или серая восточноевропейская овчарка. Ждать, однако, не стоит: заметят — заметут...

Этих автоматчиков и овчарок, колючей проволоки, строгих досмотров на КПП до слёз пугались впервые въезжавшие в Город жёны учёных и инженеров. Тем более, что из-за строгой секретности единственный поезд в Город ходил исключительно ночами. «Куда же ты меня привёз? — со слезой в голосе причитала иная жонка, глядя в предрассветное купейное окно на широкоскулого солдата с автоматом на груди. — В лагерь?!» Правда, довольно быстро начинали понимать все прелести и выгоды здешнего житья, тем более что их московские, ленинградские да харьковские прописки сохранялись, а снабжение было не хуже, а в чём-то даже лучше, столичного...

Убаюканный дорогой, глядя в полусне на приближающиеся монастырские стены, на вонзившуюся в небо колокольню, вместо креста на которой торчали антенны, Костя не понимал, и не мог тогда понимать, что жить ему суждено в Городе, которого не было — на секретном «объекте» за колючей проволокой, в котором под сенью уснувшей обители и вечных мордовских корабельных сосен ковался ядерный щит. Или меч?

Как бы там ни было, проехав на скрипучей допотопной телеге по раздрызганной грунтовке десяток вёрст, Костя из утопавшего то в сугробах, то в непролазной грязи сельца попал в ядерный центр, в гнез-

дилище советской науки, где лучшие мозги империи по приказу дорогого товарища Сталина и под бдительным присмотром товарища Берии из ничего ткали нечто.

3. Время

Когда тебе нет ещё трёх лет, ты скорее ощущаешь себя, чем осознаешь. Вот солнечный луч, пробившись сквозь ветки заоконной сирени, выскользнул из-за узорной занавески, прокрался неслышно по пёстро-му лоскутному одеяльцу, согрел щёку, пощекотал веки, вот неугомонная ворона за окном крикнула: «Хватит спать, новый день пррришёл!» — зеленоглазая мягкая, тёплая Мурёна вспрыгнула в кровать и принялась намурлыкивать ласковые сказки. Ты ещё не научился говорить, а всем известно — пока ребёнок не умеет разговаривать, он понимает язык птиц и зверей. Ему ведомо, отчего так тревожится галка на высокой сосне за окном, о чём спорят суетливые воробы и судачат бестолковые куры во дворе.

Сейчас мама, пахнувшая земляничным мылом, накормит тебя манной кашкой из тарелки, в которой плавает жёлтый кусочек топлёного масла. Потом тебя оденут, вынесут на свет божий, и вот ты уже сидишь на скамеечке у подъезда. Мама с папой ушли на работу.

Снова весна, ветерок шевелит свежими ещё листьями сирени, похлопывает не снятым с верёвки давно высохшим бельём. Большой петух деловито ходит по широкому песчаному двору в сетчатой тени сосен. Пахнет плавящейся на солнце сосновой смолой, из дверей доносится запах слегка подгоревшего на плите молока, которое кипятит для тебя няня Зина — старуха пенсионерка из соседней квартиры...

Петух яркий, рыжий, с хвостом, отливающим синим и зеленым, очень нравится тебе. Хочется взять его в руки, хочется прижать его и погладить. Но у него острый, литой клюв и длинные острые шпоры на желтых крепких ногах, и тебе страшновато. Ты еще не знаешь, что так будет всю жизнь — и хочется, и колется... Но в память твою навсегда впечатается этот день: и нескончаемые пригородные сосны, и сиреневые кусты у забора-штaketника, и песок, мелкой пылью разлетающийся из-под сильных лап петуха, хвойный дух и солнце, и далёкий невнятный шум Города, доносящийся до окраины...

Время течёт и течёт сквозь Город, сквозь Село, сквозь людей и сквозь тебя тоже... Ты живёшь и не чувствуешь этого течения. День идёт за днём, за осенью зима, за годом год... Словно во сне — светлом и лёгком — плывёшь без забот и тревог, согретый июльским теплом, дремлешь под октябрьский листопад вперемешку с дождичком, грезишь о чём-то

несбыточном, убаюканный февральскими метелями. И вдруг — весна! Вот тебе три годика, а вот уже все семь...

— Ну, Костя, гуляй хорошенько этим летом — первого сентября в школу!

Школа, парта, прописи, чернильница-непроливайка, какао и пирожки с повидлом в школьной столовой, азартный стук мяча в спортзале, Анна Дмитриевна, которая знает всё-про-всё на свете, похвальный лист за полугодие, каникулы... Как, уже зима? Уже Новый год? В деревню!

— Костя! Да Косыка же! — тянут за ногу, стаскивают теплое лоскутное одеяло. — Проваландаемся, последними будем, ничего не достанется...

На печке так тепло и уютно, сон так пленительно сладок, и Костя уже пожалел, что на вчерашний вопрос сестер: «Кость, славить с нами завтра пойдешь?» — легко ответил: «Ага!» Но сестры безжалостно стаскивают с печи, помогают одеваться, а старшая все твердит:

— Вспоминай молитву, Косыка.

И Костя в полусне ещё вспоминает вчерашний «урок»...

Рождество Твое, Христе Боже нашъ...

Под возню сестер, под бормотание бабушки у шестка, под громкий «мяк!» кошки, попавшей под ноги, сон уходит и всплывает в памяти вчерашний вечер.

В избе тепло, уютно пахнет хлебом, кошка мурлычет на коленях, за окном неслышно падает снег. Каникулы. Лицо горит, отгаивая с мороза, от полетов по ухабистой горке тело гудит, а в ушах еще стоит свист саночных полозьев и крики деревенской ребятишки.

Бабушка ушла «на двор» доить корову. Там, «на дворе», вместе с коровой живут и другие деревенские кормилицы: куры, теленок, свиньи высовывают навстречу хозяйке розоватые пяточки из-за дощатой перегородки, гуси шипят из подклети. Зимой «на дворе» всегда тепло, а летом прохладно и пахнет сеном, берёзовыми поленьями, зерном, молоком, ну, и самым деревенским запахом — свежим навозцем. Недалеко от избы пруд, который летом облюбовали гуси и маленькая вертлявая рыбка оголец, а зимой сюда прибегают ребятишки со всей деревни кататься на коньках — кто на купленных «снегурках», а кто на самодельных.

Когда бабушка вернется в избу, будет ужин. «Угостить-то по-хорошему городского внука и нечем, — сетует бабушка, — только что свое, со двора — с огорода...»

«Нечем» — это молочко, картошечка, пирожки с капустой, яйцами, луком. Суп с гусятиной, сало, варенье из чёрной смородины или крыжовника, творог, соленые огурцы и зелёные помидорки, набран-

ные дедом по осени грибы. И, конечно, душистый, ноздреватый, с приятной горчинкой и темной коркой круглый хлеб... Хлеб, прижимая каравай к груди, режет косыми ломтями дед. Крошки с выскобленной столешницы непременно сметёт в ладонь и забросит в рот.

Двоюродные сестры — старшая Танюшка и младшая Любашка — с набитыми ртами наперебой рассказывают о том, как прошлый год ходили на Рождество по домам, «наславили» кучу всяких гостинцев и почти пять рублей денег! Издавна к Рождеству ребятишки заучивали рождественские молитвы и рано-рано утром «по первой звезде» ходили по избам «славить Христа» — читали молитвы и получали за это сладости или мелкие деньги. Ребятишек ждали и охотно привечали в каждой избе, потому как чем чаще на Рождество молитва прозвучит в доме, тем удачнее и добрее будет наступивший год...

...возсія мирови светъ разума: въ немъ бо звездамъ служащии звездою учахуся Тебе водети съ высоты востока: Господи, слава Тебе!

...Весь день шестого января Костя мучился в попытках заставить себя заучить молитву с кучей странных слов — и смысл которых неясен, и язык сломаешь. И вечером кучей-малой валялись на широкой горячей печи, и все повторяли и повторяли молитву.

Дева днесъ Пресущественнаго раждаетъ, и земля вертепъ Неприступному приноситъ...

Так и не запомнив ни строчки, Костя принялся канючить, чтобы ему дали учить молитву покороче, но настырная и практичная сестра уверяла — чем длиннее молитва, тем больше денег дают... И уже в полудреме молитва неведомо как легла-таки на память, и Костя провалился в теплый пух сна — вставать было рано...

Ангели съ пастырьми славословятъ, волсви же со звездою путешествуютъ...

Во сне Костю вызвали к доске, и Анна Дмитриевна ласково сказала:

— Ну, Константин, расскажи нам «Рождество Твое, Христе Боже...»

Заученная насмерть молитва «отскакивала от зубов», учительница поставила «пятерку» и сказала, что именно так и должны учиться настоящие пионеры... А потом голосом старшей сестры позвала: «Костя! Да Косыка же!..», куда-то уползло уютное одеяло, и таял сон, и уплывал из рук дневник с «пятеркой»...

— Просыпайся! Опоздаем! Нам ничего не достанется!!! — Сестра тащила Костю с печки; день начался. Молитва, рубашка, штаны, молитва, кофта, валенки, шубейка, башлык, сестра, молитва...

Выскочили на улицу — мороз, темно, сверкает свежий снег, кое-где от труб плывет сладковатый дымок. Первый дом. Сёстры подталкивают младшего вперёд; страшновато, руки трясутся, так что стук в